

ЭТЕЛЬ ЛИЛИАН ВОЙНИЧ

ОВОД В ИЗГНАНИИ



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

Такому ты обрек меня неверью
И в мир, и в жизнь, царящую кругом,
Что я страшусь, как дерево, упасть,
Сойти в могилу, память сохранив
О том лишь, как несчастен был всегда.

Глава I

Похоронная процессия медленно прошла по раскисшей глинистой деревенской улице и поднялась на холм, где находилось кладбище. Позади плелось несколько старух в белых чепцах; некоторые плакали. Встречные обнажали головы и истово крестились — и не только по привычке: госпожа маркиза была добра к бедным, и они искренне сожалели о ее кончине.

Правда, настоящих бедняков в Мартерель-ле-Шато не было. Страшное чудовище — бедность в прежнем ее понимании, ужасающая, безысходная нищета, выпавшая на долю этих женщин в юности, — ушло в прошлое вместе со всем укладом жизни, который был сметен волной революции. Она исчезла тридцать три года тому назад вместе с барщиной и налогом на соль, с податями и сборами, вместе с дворянской гордостью и потомственными привилегиями де Мартерелей. Клубы дыма над пылавшим замком унесли с собой так много, что даже тем, кто помнил, какой была жизнь до 1789 года, она казалась теперь кошмарным сном.

Но если ты беднее своих соседей, ты уже бедняк; и теперь в Мартереле бедным считался тот, у кого не

было коровы, — так изменился облик бургундской деревни за одно лишь поколение.

Для этих неудачников, а также для всех больных и несчастных покойная маркиза была добрым другом. Она не могла помогать им деньгами: революция, принесшая благосостояние деревне, разорила обитателей замка. Но маркиза всегда относилась к крестьянам по-добрососедски и по-матерински заботилась о них; хотя она и не могла подарить корову, кувшин молока для больного ребенка она давала с такой ласковой улыбкой и так искренне беспокоилась о здоровье малыша, что старый Пьерро сказал однажды матушке Папийон: «Никто сроду и не догадался бы, что она из этих проклятых аристократов».

Да, собственно говоря, она была только женой аристократа. Дочь дижонского врача, она принесла мужу вместе со скромным приданым лишь благородство души, а не имени. Однако у него хватало знатности на двоих, о чем свидетельствовали разбитые надгробья и гербовые щиты в местной церквушке. В остальном же ее приданым, как и у Корделии, была ее прекрасная душа, и поэтому с уходом Франсуазы семья сразу осиротела.

Ее муж, стоявший с двумя сыновьями около могилы, выглядел до странности потерянным, — могло показаться, что умерла вдова, оставив не двух, а трех сирот, у одного из которых на висках уже пробивалась седина.

Судьба была жестока к этому пожилому спокойному египтологу, внезапно ввергнув его в пучину страшных несчастий. За последние две недели он провожал к этой могиле уже третий гроб. Смерть детей опечалила его, хотя, поглощенный своими книгами, он знал их очень мало; со смертью жены рушился весь его мир.

Он медленно отошел от могилы. Было трудно поверить, что здесь похоронили Франсуазу и что, когда они все трое придут домой, мокрые и продрогшие, она не встретит их приветливой улыбкой, заранее приготовив нагретые домашние туфли. Четырнадцать лет она была подле него, всегда готовая сделать то, что нужно, всегда готовая стусеваться, если он был занят. Ее присутствие, столь удобное и незаметное, стало необходимым условием его существования.

Это не был брак по любви. Маркиз женился по настоянию друзей и, так как ему было все равно, предоставил им выбор невесты; однако ни он, ни она ни разу об этом не пожалели. В течение всех четырнадцати лет их совместной жизни он был неизменно учтив с женой, поскольку не мыслил иного отношения к женщине, и оставался ей неизменно верен, поскольку его влекли только духовные радости. Но хотя Франсуаза родила ему пятерых детей, хотя она была ему не только женой, но и матерью, ограждавшей его от денежных забот, домашних хлопот и волнений, он совсем не знал ее и даже не подозревал, что не знает, — она была для него просто Франсуазой. Теперь же она казалась ему непостижимо величественной и даже страшной, — и не потому, что ее уже не было в живых, а потому, что она умерла, окруженная ореолом самоотверженного материнства.

Если бы Франсуаза узнала, что ее смерть пробудит в маркизе это новое чувство робости перед ней, она бы беспредельно удивилась. Ее отчаянная одинокая борьба за жизнь троих детей, заболевших тифом, представилась бы ей (если бы она вообще хоть на минуту задумалась над этим) вполне естественной, — ведь она была матерью. Но Франсуаза, женщина бесхитростная да к тому же не имевшая ни минуты свободного вре-

мени, не обременяла себя отвлеченными размышлениями о разнице между долгом матери и долгом отца и, не раздумывая, рисковала жизнью, оберегая в то же время от болезни своего мужа. Жизнь выдающегося ученого была слишком драгоценна, чтобы подвергать ее опасности. Он же ни во что не вмешивался — не из трусости, а просто потому, что он вообще никогда ни во что не вмешивался. Маркиз полностью доверял Франсуазе, и ему так же не могло прийти в голову усомниться в ее житейской мудрости, как ей оспаривать его суждение о каком-нибудь папирусе. И вот теперь, вырвав у смерти одного ребенка, она последовала в могилу за двумя другими, беспокоясь на смертном ложе только о том, сумеют ли слуги без нее содержать детей в чистоте и хорошо варить кофе.

Старший из мальчиков, Анри, шел рядом с отцом и горько плакал. Ему было тринадцать лет, и он уже понимал, что мама действительно умерла. К тому же он сам только что оправился от болезни и, помимо душевного горя, испытывал еще и физическую слабость. Маркиз ласково потрепал сына по плечу, и Анри поднял голову, улыбаясь сквозь слезы. Он безгранично, так же как и его покойная мать, обожал отца. Отец был самым умным, самым ученым и самым замечательным человеком на свете, ласка отца была большой честью, утешением в любом горе. Судорожно всхлипнув, Анри перестал плакать и благодарно потерся мокрой щекой о добрую отцовскую руку.

Маркиз был рад, что хоть Рене не плакал. Ему было очень жаль своих осиротевших мальчиков, но плачущие дети его всегда немного раздражали: они совсем не умели пользоваться носовыми платками. Рене не проронил ни слезинки; ему еще не было десяти, и он, как и маленькая сестренка, ожидавшая их дома, по-ви-

димому не понимал, что произошло. Во время похорон он только ежился от холода.

Они миновали липовую аллею и проехали под огромной аркой ворот, по обе стороны которых высились остатки крепостных башен. Замок, огромный, сырой, обветшалый, всегда производил довольно унылое впечатление; сегодня же, когда, забрызганные грязью и дрожащие от холода, они увидели его сквозь сетку дождя, сердце его владельца болезненно сжалось. Никогда еще маркиз не ощущал с такой остротой его холодную суровость, его застывшую угрюмую надменность; но никогда еще этот замок не был ему так дорог. Он любил его больше всего на свете — больше детей, даже больше книг. Книги принадлежали только ему, он любил их тридцать лет, — но цепь, которая приковывала его к этому дому, тянулась через четыре столетия. Поколение за поколением Мартерели жили и умирали здесь; их род никогда не был особенно богатым или знатным, но владельцы замка безмятежно верили в свое право на существование и были вполне довольны и собой и, в общем, Всевышним. В тех редких случаях, когда они по делам или в поисках развлечений попадали в Париж, с ними порой обходились как с деревенщиной, но дома никакие сомнения не терзали их души, никакие сложные вопросы не омрачали их спокойствия; сам помазанник Божий на своем троне не был надежнее отгорожен от действительности, чем они в своем обнесенном рвом замке. И вдруг свершилось возмездие.

Войдя в огромную прихожую, маркиз вздрогнул. Неужели сегодня было мало горя? Зачем как раз сегодня ожили в памяти страшные воспоминания детства?

Старый облупленный комод уцелел во время разгрома и пожара. Он все еще стоял возле ниши, к кото-

рой его придвинули кормилица маленького Этьена и ее сын Жак, едва успевшие спрятать мальчика. Через минуту ворота были взломаны. Скорчившись в темноте, мальчик — он был тогда не старше Анри — судорожно зажимал уши, чтобы не слышать оглушительных криков, проклятий, топота ног и воплей, раздавшихся на лестнице и так внезапно оборвавшихся.

О, эти страшные вопли на лестнице!

Воспоминание о них отравляло его юность, лишая окружающий мир светлых красок; из-за них любимый дом, в который он вернулся, проведя несколько лет в Англии, вселял в него ужас, а не дарил радость. Только появление Франсуазы изгнало призраки, — рядом с таким спокойным, жизнерадостным и в высшей степени прозаическим существом не было места страхам, порожденным воображением. Неужели теперь, когда Франсуазы больше нет, призраки опять вернуться?

Маркиз с ужасом ощущал их приближение. О них напоминал даже пронзительный плач девочки в детской. В его жизни было так мало значительных событий, что это единственное страшное воспоминание так и не изгладилось из памяти; и сейчас, когда он был измучен усталостью и горем, прошлое опять вставало перед ним с отчетливостью кошмара. Ему казалось, что он снова ощущает густой, удушливый запах гари и опять слышит тревожный голос Жака:

— Этьен! Господин Этьен! Где вы? Вы живы? Они ушли, мой маленький.

Тот же самый Жак, поседевший, но по-прежнему заботливый, остановил его около двери в кабинет. Глаза его были красны от слез.

— Господин маркиз, не забудьте переодеться в сухое. День сегодня холодный. Марта приготовила горячего супу.

— Спасибо, Жак, — благодарно ответил маркиз. — Ты всегда обо всем подумашь. Присмотри, пожалуйста, чтобы кто-нибудь занялся детьми. И скажи, чтобы меня не беспокоили, — я хочу побыть один.

Он с облегчением вздохнул, очутившись наконец в своем кабинете за запертой дверью, отгородившей его от внешнего мира, среди друзей юности, которые, выстроившись на полках, безмолвно предлагали ему благородное утешение. Маркиз открыл книжный шкаф, вынул «Республику» Платона и со вздохом поставил ее обратно — сегодня греки не могли ему помочь. Некоторое время он не мог решить, что же выбрать, и в раздумье ласково гладил корешки любимых книг: Вольтер, Дидро, Гоббс, Гиббон; затем вынул том Монтеня и, пододвинув кресло поближе к пылающему камину, углубился в главу «О жизненном опыте».

Ветки каштанов, стучавшие в окно, отвлекли его внимание от книг. Старые громадные деревья были посажены слишком близко к дому; летом их густая листва не пропускала ни солнца, ни воздуха, а в зимние ночи шум ветра в ветвях звучал как нескончаемый стон. Франсуаза, тревожившаяся за детей, часто думала, что было бы лучше, если бы эти мрачные гиганты росли подальше от дома, но она ни разу не предложила их срубить, зная, как дороги они мужу. С ними были связаны первые воспоминания его детства, и каждая их веточка была священна.

Сейчас постукивание веток по стеклу показалось маркизу приветствием друга. Он встал, открыл окно, сорвал несколько больших желтых листьев и прижал их к лицу. Хотя стояла поздняя осень, листья все еще слабо пахли, — это был самый дорогой для него в мире запах.

Почему-то эти листья, их прикосновение, их аромат облегчили гнет его горя. Чистые и гладкие, прохладные

и душистые, они умирали с ясным и спокойным благородством, достойным самого Монтеня. Он вспомнил успокаивающие, проникнутые мудрым терпением слова: «Que les bastimens de mon aage ont naturellement à souffrir quelque gouttière. Il est temps qu'ils commencent à se lascher et desmentir. C'est une commune nécessité. Et n'eust on pas faict pour moi un nouveau miracle»*.

Все это так, но Франсуаза умерла молодой.

Маркиз облокотился о подоконник и устремил взор на поросшую лесом равнину и видневшиеся вдали на холме башни. Везде — серые силуэты на сером небе. И его жизнь такая же серая, как это небо. После кроваво-красной вспышки в самом начале она всегда была бесцветной, а теперь, без Франсуазы, светлые минуты будут совсем редки. Но как ни мало радостей сулило будущее, жить все-таки стоит, если удастся сохранить душевное спокойствие и продолжать свою работу.

Но как можно быть спокойным, когда наверху так пронзительно плачет Маргарита? Первое, что он услышал, вернувшись домой час тому назад, был ее вопль, и с тех пор она все плакала. Наверно, нянька оставила ее без присмотра или не может ее успокоить. У Франсуазы дети никогда так не плакали. Такой крик просто невыносим, и, наверно, трехлетнему ребенку вредно так долго плакать. Надо положить этому конец. Однако мысль о необходимости впервые в жизни вмешаться в домашние дела приводила маркиза в ужас, и он открыл дверь в детскую с чувством робости и тоскливой неуверенности.

* Организм, достигший моего возраста, обычно страдает каким-нибудь изъяном. Проходит время, и он начинает слабеть и разрушаться. Такова всеобщая закономерность. Меня это ничуть не поражает (*фр.*).

— Берта, — мягко сказал он. — Почему Маргарита так долго плачет? Может быть, она голодна или...

Женщина повернула к нему испуганное, заплаканное лицо.

— Всё эта ленивая дрянь Сюзанна, господин маркиз. Я только на минуту пошла в церковь попрощаться с моей доброй госпожой, а она... а она...

— Что она? — спросил маркиз, стараясь разобраться, в чем же дело, и невольно морщась от шума. — Она ушибла девочку?

Нянька опять залилась слезами.

— Я не виновата, клянусь Богом, не виновата! Откуда мне было знать, что она так плохо будет смотреть за нашей душечкой?

— Берта! — сурово сказал маркиз, подходя к няньке. — Что-нибудь случилось?

Нянька закрыла голову фартуком. Несколько строгих вопросов — и она во всем призналась: решив сбежать потихоньку на похороны, она оставила девочку на попечение пятнадцатилетней судомойки; та, в свою очередь, засмотрелась в окно, забыв про малышку, которая вышла в новых туфельках на лестницу и скатилась вниз по каменным ступеням. При падении она сильно ушиблась и рассекла голову.

Ближайший доктор жил довольно далеко; и поскольку девочка не успокаивалась, послали за матушкой Коннетель, которая умела ходить за больными. Она дала малютке макового настоя и, когда девочка заснула, объявила, что ничего страшного не случилось — все кости целы.

Тем не менее маркиз не совсем успокоился. Но вскоре новая беда заставила его забыть про Маргариту: Анри простудился на похоронах, и так как он еще не успел окрепнуть после тифа, то ночью ему стало очень

плохо. В течение десяти дней отец не мог ни о чем думать, кроме угрозы новой, четвертой по счету, потери; когда же опасность миновала, синяки Маргариты почти совсем прошли.

Полоса несчастий и тревог как будто наконец кончилась, но нервы маркиза были совершенно расстроены. Его мучила бессонница, и по ночам он бродил из комнаты в комнату, преследуемый кошмаром, что с детьми опять случится несчастье.

С каждым днем маркизу становилось все яснее, что слугам, несмотря на их добрые намерения, доверять нельзя. И не только потому, что Маргарита по их недосмотру упала с лестницы, а Анри они отпустили на похороны в тонких ботинках и не переодели сразу в сухое, когда он вернулся домой, — детей не следовало оставлять под влиянием этих невежественных и суеверных крестьян и по другим, не менее веским соображениям. Он обнаружил, что детей пичкали россказнями о людоедах и оборотнях, и заметил также, что, хотя Франсуаза умерла совсем недавно, между кухней и детской установилась близость, которую он считал крайне нежелательной. Слуги особенно баловали и портили своего любимца Рене. Мальчик ходил за Жаком по пятам, катался на нем верхом, слушал длинные истории о святых и чудесах, развязывал старой поварихе тесемки фартука, помогал ей молоть кофе, получая в награду горячие пирожки, и перенимал у слуг неряшливую манеру есть и протяжную бургундскую речь. Разумеется, прислуга желала детям добра, а привязанность Жака к их семье не подлежала сомнению, но тем не менее его влияние на Рене могло оказаться пагубным. Отсутствие хозяйки в доме обрекало детей на множество неудобств, не говоря уж о том, что Маргарита не сможет получить хорошего

воспитания, если в детстве будет лишена влияния женщины их круга.

Что-то нужно было делать. Но что? Мысль о вторичной женитьбе претила маркизу — и потому, что это оскорбило бы светлую память Франсуазы, и потому, что присутствие в доме женщины нарушило бы покой, необходимый ему для занятий. Франсуаза обладала необычайной способностью быть незаметной, и это казалось маркизу самым драгоценным из ее многочисленных достоинств, но нельзя было рассчитывать, что ему посчастливится встретить еще одну подобную женщину.

Проще всего было бы пригласить в замок какую-нибудь родственницу, которая взяла бы на себя заботу о хозяйстве и детях. Но это было бы немногим лучше второго брака, а пожалуй, даже и хуже, поскольку при женитьбе все же возможен какой-то выбор, тогда как единственной подходящей родственницей была его свояченица мадемуазель Анжелика Ломонье, старая дева с небольшими средствами и многочисленными добродетелями. Она, конечно, была бы счастлива расстаться со своим скучным домом в Аваллоне и почувствовать, что она действительно кому-то нужна, но она стала бы вторгаться в его кабинет, чтобы предложить ему утешение религии, и наводнила бы дом дурно воспитанными монахами и болтливими монахинями.

Оставалось только отослать детей туда, где бы заботились об их духовных и телесных нуждах и где бы они получили воспитание, приличествующее их положению в обществе. Правда, это обойдется недешево, а доходы маркиза были невелики; но он умел довольствоваться малым и не испугался бы никаких материальных лишений, лишь бы ничто не возмущало душевного спокойствия, необходимого ему для занятий.

К сожалению, как бы он ни урезывал своих расходов, отказывая себе даже в самом необходимом, ему все равно не хватит денег, чтобы отдать детей в приличные школы, если не продать часть и без того оскудевшего и перезаложенного поместья. Хорошее образование мальчикам нужнее, чем земля, а на приданое Маргарите всегда что-нибудь да останется.

Земля была продана, и маркиз поручил дочь заботам тетки, определив на ее содержание такую солидную сумму, что Анжелика, зная, в каких стесненных обстоятельствах находится ее зять, запротестовала:

— Это слишком много, Этьен, уверяю вас. Что стоит прокормить и одеть такую крошку? А заботы — неужели вы думаете, что мне надо за них платить? Она будет моей радостью, будет напоминать мне о дорогой Франсуазе.

На глазах у Анжелики навернулись слезы, на которые она никогда не скупилась. Маркиз невольно нахмурился и спросил себя: откуда у Франсуазы было такое умение держаться? Она никогда не плакала. Правда, Жак и старая повариха могли бы рассказать ему другое, но он действительно ни разу не видел слез своей жены.

— Дорогая Анжелика, — сказал он своим мягким голосом, — оставьте мне единственную роскошь бедного человека — право честно платить свои долги. Я, конечно, никогда не смогу отплатить вам за любовь и заботу о моей дочери, но по крайней мере я обязан избавить вас от лишних беспокойств. Я не хочу, чтобы Маргарита страдала из-за нехватки денег, — довольно с бедняжки и того, что она лишилась матери. Мне же довольно корки хлеба и моих книг.

Теперь нужно было устроить мальчиков. Маркиз считал, что для Анри лучше всего подойдет бернар-

динский коллеж в Аваллоне. Перенеся две тяжелые болезни, мальчик сильно ослабел. Ласковый и привязчивый, он истосковался бы вдали от дома, а в Аваллоне он будет видеться с сестренкой и тетей, да и отец сможет его навещать. Конечно, религиозное воспитание... но что же делать? Маркиз пожал плечами. Сам он был убежденным атеистом, но Франсуаза верила искренне и глубоко, хотя никогда ему этим не докучала, и она бы обрадовалась, узнав, что ее старший сын вырастет добрым католиком. Школа была недорогая и удобно расположена. Кроме того, местное дворянство не терпело вольнодумства в вопросах религии. Если Анри пожелает в дальнейшем поселиться в имение и заняться сельским хозяйством, ему будет легче жить, если он будет разделять убеждения соседей. Да, собственно, почему бы ему и не вырасти верующим? Он хороший мальчик, прекрасный мальчик, но, пожалуй, немного туповат.

С Рене было сложнее. Вряд ли имело смысл отправлять его к добрым бернардинцам; туповатым его, во всяком случае, никак нельзя было назвать. В это время маркиз получил письмо от брата, единственного — кроме него — члена их семьи, который уцелел во время разгрома замка. Осиротевших мальчиков приютил дальний родственник; когда начался террор, он бежал с ними в Англию. Младший из братьев так и не вернулся на родину; он принял британское подданство и переделал свое имя на английский лад, — теперь его звали Генри Мартель. Он сделал хорошую карьеру и, женившись на англичанке, поселился в Глостершире. В письме он предлагал брату взять Анри на несколько лет к себе и поместить его в школу вместе со своими сыновьями.

Отец показал Анри письмо дяди, считая сына достаточно взрослым, чтобы посоветоваться с ним, но